

Э. А. К. Васянский

ИММАНУИЛ КАНТ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ¹

Все указывало на то, что текущее лето будет последним в его жизни. Последний выезд он совершил в августе, в сад его почтенного друга и частного сотрапезника, г-на С. Р. Н.², в компании г-на D. M.³ Оба были у *Канта* к полудню, когда он получил от них предложение совершить эту поездку. *Кант*, привыкший ко мне, не хотел отправляться без меня. Поэтому меня с чрезвычайной поспешностью нашли, и я принял в ней участие — и теперь я рад этому, ведь поездка оказалась последней. В течение поездки была предусмотрена встреча с его уважаемым другом г-ном Н. Р. S.⁴ — тоже последняя, как теперь ясно. *Кант* вошел в сад раньше, чем его друг, и по причине своей слабости был совершенно не расположен к общению. Из-за его абсолютно искаженного чувства времени ожидание прибытия его друга тянулось слишком долго, и невозможно было уговорить *Канта* подождать, чтобы все-таки его увидеть. Он с нетерпением приблизил окончание своей последней экскурсии, как он называл свои прогулочные выезды. Остаток последнего летнего месяца не преподнес дней, подходящих для выездов, и, таким образом, они в жизни *Канта* закончились.

Семнадцатого августа в его часто упоминаемой книжечке появилось следующее стихотворение: «В каждом дне своя забота, в месяце 30 дней, так ясен счет, о тебе же можно уверенно сказать, что через тебя мы проносим самый легкий груз, о прекрасный февраль»⁵. Следующий февраль стал месяцем его смерти, в котором он пронес последний и легчайший (в сравнении с его прежними головными болями, вздутием живота и его плавным отходом к покою) груз. Если бы он записал эту рифму всего пятью днями раньше, то представил бы этот панегирик ровно за полгода до дня своей смерти. Я никогда не слышал этот стих ни от *Канта*, ни от кого-то другого и не знаю, откуда он его взял.

© Зильбер А. С., пер. с нем., 2013

© Кошцев И. Д., редакция перевода с нем., 2013

¹ Продолжение, начало см. в: *Кантовский сборник*. 2012. №1(39). С. 65–78 ; 2012. №2(40). С. 65–78 ; 2012. №3(41). С. 89–95 ; 2012. №4(42). С. 100–114.

Перевод с немецкого текста Э. А. К. Васянского осуществлен в рамках проекта «Центр переводов и межкультурной коммуникации» Федеральной программы развития БФУ им. И. Канта и выполнен по изданию: *Immanuel Kant: sein Leben in Darstellung von Zeitgenossen / die Boigr. von L. E. Borowski, R. V. Jachmann und E. A. Ch. Wasianski / Hrsg. von F. Gross ; Neudr. der Ausg. Berlin, 1912 / mit einer neuen Einl. von Rudolf Malter. Darmstadt : Wiss. Buchges., 1993. S. 191–271 (Иммануил Кант. Его жизнь в описании современников. Биографии Л. Э. Боровского, Р. В. Яхмана и Э. А. К. Васянского / под ред. Ф. Гросса ; печ. по Берлинскому изданию 1912 / вступ. ст. Р. Мальтера. Дармштадт : Научное книжное общество, 1993. С. 191–271).*

² Konsistorialrat Hasse — Иоганн Готфрид Хассе (1759–1806), консисторский советник и профессор теологии.

³ Скорее всего, *Doktor Metzger, Johann Daniel* (1739–1805) — с 1777 г. проф. медицины в Кёнигсберге, давний друг Канта к тому времени.

⁴ *Hofprediger Johann (Friedrich) Schultz* (1739–1805) — «придворный проповедник» пастор Шульц.

⁵ Оригинал: Ein jeder Tag hat seine Plage, / hat nun der Monat dreißig Tage, / so ist die Rechnung klar, / von dir kann man dann sicher sagen, / daß man die kleinste Last getragen, / in dir du schöner Februar.

Кто лицезрел бы *Канта* в приближении осени, особенно в первой половине дня, — как он уже почти ни шагу не мог ступить, даже с поддержкой и указанием направления, почти не мог прямо сидеть, из-за слабости почти не мог ничего внятно сказать, — тот бы предположил, что этой слабости уже некуда развиваться и сегодняшний день, должно быть, последний. Но каждый день доказывал обратное. Как поздней осенью столбик термометра постепенно опускается, а иногда от выглядывающих лучей солнца поднимается, но всегда снова опускается еще ниже, чем в предыдущий раз, — так было и с силами *Канта*. Его великий дух еще порой героически стремился вверх, но слабость тела прижимала его вниз, после каждого нажима он терял эластичность, не ослабевая, однако, полностью.

В начале осени сильно снизилась зоркость его правого глаза. Левый уже давно отказал. Заметил он это лишь случайно, когда во время прогулки сел для отдыха на скамейку. Его наблюдательный дух все время был активен, поэтому он задал себе уже часто повторявшийся опыт: каким глазом он видит лучше. Он взял газетный лист, который как раз был у него с собой, закрыл один глаз и с неприятнейшим удивлением обнаружил, что левым он больше ничего не может видеть. Он рассказывал мне, что подобные странные случаи бывали с ним и раньше. Вернувшись с прогулки у Штайндаммских ворот, он долгое время видел башню Ново-Росгартенской кирхи двоящейся. Дважды в жизни он на несколько мгновений полностью слеп. Насколько редки такие явления, предоставлю судить врачам. *Канта* эти и подобные происшествия немало озадачивали, потому что он всегда пытался составить о себе целостную картину.

Теперь и правый глаз его стал настолько слабым, что в отдалении он не мог ничего видеть. Меня это обстоятельство очень беспокоило, я думал о худшем, что могло случиться в его положении: как бы он не ослеп полностью. Его усилившееся ощущение потребности в помощи множило его желания и требования до такой степени, которая ставила меня в крайне затруднительное положение. Он едва ли мог видеть столько, чтобы хоть что-то читать и писать, а ведь всего несколько недель назад он еще мог прочесть хотя бы кратенькую рукопись совершенно невооруженным глазом. Осенью он еще писал — так, как с закрытыми глазами может поставить свою подпись человек, который много упражнялся. Теперь он целиком полагался на меня и мое нехитрое умение. Я должен был изобрести средство усиления его зрения, приумножить его малый остаток и вообще (выбор способа он предоставлял мне) довести его до такого состояния, чтобы он мог читать. Он не знал ничего более скучного и невыносимого, чем невозможность читать. Попытки окружающих читать для него вслух объявлялись нежелательными. Сколь ни простительно было его желание, сколь ни охотно он исполнил я его хоть частично — это все же было решительно невозможно. Чем более страстно он повторял его, тем более неловко я себя чувствовал. Я предложил ему увеличительное стекло, но для него это были кандалы, в которые он не хотел заковываться. Стекло было выброшено, он совершенно не мог смириться с ним. Был приведен окулист, была попытка сделать очки с различными фокусами, их подобрали и опробовали, но читать *Кант* все равно больше не мог.

И тут он потребовал, чтобы я сделал ему двойные или тройные очки, с пространством между стеклами в каждой половине. Я объяснил ему бесполезность такой попытки: из-за преломления лучей при прохождении через несколько стекол объекты будут казаться затемненными, а увеличение числа выпуклых стекол настолько сократит фокус, что из-за слишком боль-

шого приближения книги при дневном свете будет невозможно поймать буквы. Попытка все же была сделана: трое очков были соединены воском — и исход этой попытки подтвердил неразрешимость его проблемы.

Решить связанные с механикой проблемы *Канта* практически и с тем успехом, которого он ожидал, было весьма непросто. Отсутствие понимания практической механики приводило к тому, что он часто требовал сделать невозможное. Приведу в пример то, что произошло лет за 10 до описываемых событий. Он попросил меня помочь ему спроектировать и изготовить измеритель эластичности воздуха. Его идея была следующей: две стеклянные трубки очень разного калибра с цилиндрическими сосудами, как у термометра, открытые и вставленные друг в друга под углом в 45 градусов. Более толстая трубка должна была иметь примерно четверть дюйма в диаметре, более тонкая — быть капилляром, наполовину наполненным ртутью. Этот метеорологический инструмент надлежало закрепить на доске так, чтобы толстая трубка занимала вертикальное положение, а более тонкая со 100-градусной шкалой, — наклонена под углом в 45 градусов. При понижении эластичности воздуха ртуть в меньшей трубке должна была сжиматься, при повышении — расширяться. Я оспаривал возможность этого эффекта, который, по моему разумению, противоречит тому закону, согласно которому сообщающиеся сосуды равного диаметра с одинаковой жидкостью приходят в равновесие, если не учитывать адгезию⁶ со стеклом. Электрометр был готов, его показания были отмечены в календаре: «Электрометр показывает 49 градусов». На следующее утро стало 50. *Кант* уже хотел воскликнуть как обычно «*Эврика!*», однако был еще не так близок к цели, как Архимед. Когда же я обратил его внимание на возросшую температуру в комнате, которая, вероятно, и расширила ртуть, он замолчал и погрузился. Такие опыты были проделаны с электрометром, барометром, термометром и гидрометром — и не удалось заметить ничего определенного и соответствующего, кроме того, что электрометр немного реагировал на теплоту и холод подобно термометру. Я не хотел умолчать здесь о данных опытах, чтобы эта идея *Канта*, которую он не высказывал, пожалуй, никому, кроме меня, не была полностью забыта. Если тепло и холод, а также изменения плотности воздуха способны влиять на положение ртути в электрометре и ничто остальное в этом деле не ясно, то более точные измерения и изошренные проверки, пожалуй, не могут дать никакого иного результата. *Кант* построил свою теорию и ее возможную эффективность на различии изгибов сферической ртутной дуги у внешних краев разных по диаметру трубок. Быть может, другой естествоиспытатель усовершенствует эту намеченную *Кантом* идею, или, возможно, что идея *Канта*, усмотревшего ее невыполнимость на избранном им пути, подвигнет какого-либо физика к достижению той же цели другим путем. *Кант* сулил метеорологии большую пользу от любого прибора, который будет способен определять свойства воздуха хотя бы с приблизительной точностью. Поэтому он просил меня поразмышлять над этим и проделать опыты, дабы приблизиться к цели; он обещал при публикации этого открытия не замалчивать мой вклад в него и еще меньше приписывать его себе; как будто мое участие было достойно того, чтобы быть упомянутым этим человеком; или как будто даже в том случае, если бы мне удалось внести какую-то лепту в это дело, он был способен приписать успех чужого участия себе. Это последнее обстоятельство, надеюсь, послужит некоторым извинением тому, что я за-

⁶ Прилипание жидкости к стеклу, сопровождающееся ее поверхностным сжатием.

вел здесь речь об электрометре, что, впрочем, было бы излишним, если бы упомянутые выше слова Канта не свидетельствовали столь ярко о его скромности.

Эта его идея напоминает мне еще одну, которая, хотя и оказалась столь же невыполнимой, однако навсегда останется остроумной. В то время г-н д-р Хладни⁷, показывавший в Кёнигсберге свои акустические опыты, часто бывал у меня и демонстрировал мне приемы наглядного представления звуков, а после его отъезда в нашем разговоре с Кантом речь зашла об этих необычных явлениях. Кант считал эту находку открытием неизвестного доселе закона природы и предложил мне проделать хитроумный физический опыт. А именно: поместить оконное стекло, приведенное с помощью смычка в колебательное состояние, под солнечный микроскоп, чтобы увидеть, какое воздействие на экран окажут солнечные лучи, быстро преломляющиеся под различными углами, проходя сквозь это волнообразно движущееся прозрачное тело. Мне эта идея, должен признаться, показалась сенсационной. Поймав при первой возможности солнечный луч, я попытался тотчас повторить этот опыт, который, однако, при обычной настройке солнечного микроскопа не смог дать никакого результата. И эту идею я считаю достойной того, чтобы ее сохранить.

В последние годы своей жизни Кант очень тяжело переносил визиты посторонних в свой дом и всеми способами уклонялся от них. Когда проезжие путешественники делали крюк в несколько миль, чтобы только увидеть его, и с большой вежливостью просили меня устроить встречу, я часто попадал в неловкое положение. Отрицательный ответ стоил мне больших усилий и мог создать впечатление, что я пытаюсь показать свою важность. Ведь для Канта было бы тяжело и даже унизительно теперь, когда он больше не мог вести беседу, позволять видеть себя в своей слабости. Я мог бы привести достаточно примеров как скромности, так и навязчивости этих гостей. Из первых — расскажу лишь об одном. Большой почитатель Канта, который со всей очевидностью показал, как высоко он ценит этого человека, и, будучи связанным с ним товарищескими узами, прибыл сюда, чтобы занять высокий пост, прислал уведомительное письмо, указав в нем, что будет доволен даже минутным свиданием с Кантом. Если бы я успел узнать об этом до смерти Канта, то, зная его образ мыслей, ручаюсь: Кант, с его гуманностью, должен был бы познакомиться с этим коллегой, и он обязательно пригласил бы его отобедать с ним. Порой я не мог запретить его почитателям минутные свидания. Обычно он отвечал на комплимент о том, что его рады видеть, следующим образом: «Перед Вами старый, проживший свое, немощный и слабый человек». Я был рад тому, что познакомился с одним из посетивших Канта путешественников, французским подданным Отто, который подписал договор о мире с лордом Хокзбери⁸. Еще один посетитель, искавший встречи с Кантом в последние годы его жизни, заслуживает того, чтобы как раз здесь и сейчас о нем упомянуть. Это был

⁷ Э. Ф. Ф. Хладни (1756–1827) — немецкий физик и исследователь метеоритов, основатель экспериментальной акустики, музыкант.

⁸ *Lord Hawkesbury*, также перев. как *Гоуксбери* — титул, который носил с 1796 по 1803 год, Роберт Банкс Дженкинсон, второй граф Ливерпульский. Амьенский мирный договор 25 марта 1802 года подписали, в числе прочих, уполномоченный Франции Жозеф Бонапарт и уполномоченный Соединенного Королевства лорд Корнуоллис. Лорд Хокзбери (в то время министр иностранных дел Соединенного Королевства) и представитель Франции Отто провели переговоры и подписали прелиминарные (предварительные) условия мира 1 октября 1801 года в Лондоне.

молодой русский врач, который своим энтузиазмом в отношении к *Канту* отличился совершенно особым образом. С нетерпением ждал он момента, когда его представят. Кант едва успел взглянуть на него, как тот, проникнутый уважением, уже целовал его руку, чтобы самым явным образом выразить свою радость. *Кант*, которого всегда смущали такого рода знаки глубокого уважения, смутился и в этот раз и не знал, как выйти из положения. На следующий день тот приходит к слуге, интересуется, чем *Кант* занят, спрашивает, хорошо ли ему живется для его возраста, и просит дать ему один-единственный листочек, исписанный рукой *Канта*, на память. Слуга прямо на полу находит листок с текстом из предисловия к «Антропологии», уже много раз переписанный и выброшенный. Этот листок слуга показывает мне и получает разрешение отдать его. Когда он приносит его молодому врачу в гостиный двор, тот принимает его с радостью, целует, переполненный восторгом, снимает с себя платье и жилет, вручает их слуге, и сверх того кладет еще талер. *Кант*, испытывавший отвращение ко всем проявлениям экзальтации и неумеренности в эмоциях и всегда очень ценивший простоту, прямоту и естественность, был неприятно удивлен, однако не без некоторого удовлетворения, таким необычным поведением его молодого почитателя.

На этом я перехожу к описанию нового периода в жизни *Канта*, который полностью изменил всё ее прежнее течение. Переломным днем стало 8 октября 1803 года. В этот день Кант впервые за всю свою жизнь серьезно заболел. Когда-то, в юные студенческие годы, у него случился жар, который удалось снять прогулкой, выйдя из города через Бранденбургские ворота и возвратясь через Фридландские. Затем, уже в последние годы нашего с ним общения, он сильно ушиб голову, ударившись о дверь. Оба эти случая при желании можно назвать болезнями, но ничем более серьезным, насколько он помнил, он не страдал. А 8 октября возникла угроза всему его физическому существованию. Считаю своим долгом затронуть здесь еще не упомянутые обстоятельства, дабы подробнее изложить историю его болезни. Аппетит у *Канта* в последние месяцы жизни нарушился, точнее, претерпел патологические изменения. Он не чувствовал вкуса ни одного блюда, но обрел большую охоту к хлебу с маслом, который он иногда перед откусыванием макал в тертый английский сыр, и с жадностью поглощал его. Первоначально при приеме других блюд время для него тянулось слишком долго, и ему хотелось, чтобы очередь скорее дошла до его любимого блюда; потом он уже перестал соблюдать порядок и просил подавать большие порции этой вредной для него еды в промежутках между каждым блюдом. Седьмого октября, за день до заболевания, он налегал на него сильнее, чем когда-либо, уплетая это вредное для него кушанье после каждого другого отвергаемого им блюда. Мы вместе со вторым его соотрапезником пытались отговорить его от частого употребления этого жирного, тяжелого для желудка и сухого продукта. Однако на сей раз он сделал первое исключение из своего обычного одобрения и принятия моих советов. Он упрямо настаивал на удовлетворении своего извращенного аппетита. Думаю, не ошибаюсь в том, что тогда я впервые заметил в нем недовольство мною, которое должно было дать мне понять, что я преступил установленную им для меня границу. Он ссылся на то, что эта еда ему никогда не вредила и не может навредить. Сыр поглощался — велелось натереть еще. Испробовав все средства, чтобы уберечь его от этого, я вынужден был молчать и подчиняться.

Худшие опасения подтвердились с математической точностью. Печальному дню предшествовала беспокойная ночь. До 9 часов утра все шло как обычно; но как раз в это время *Кант*, которого вела под руки сестра, бесильно повалился на пол. Позвали слугу: было похоже, что *Канта* постиг удар. Его кровать перенесли из холодной спальни в отапливаемый кабинет. Как только его уложили, слуга поспешил ко мне со срочным известием: его хозяин при смерти. Я сразу послал за врачом, господином М. R. D. E.⁹, а сам тут же поторопился к *Канту* и нашел его лежащим в постели без сознания, лишенным дара речи и с потухшим взором. На наши все более громкие оклики он не реагировал взглядом. Вскоре пришел врач; но еще до его прибытия организм *Канта*, не ослабленный какими-либо излишествами, помог сам себе непроизвольными опорожнениями. Примерно через час он открыл глаза и стал издавать невнятное лепетание, которое к вечеру, по мере того как он оправлялся, перешло в членораздельную речь. Несколько последующих дней он впервые в своей жизни оставался в постели и ничего не ел. Двенадцатого октября, когда в обеденное время я был с ним один, он откушал одну ложку пищи и потребовал бутерброд с сыром. Я твердо решил спокойно ожидать и терпеливо сносить от *Канта* все что угодно, но не давать ему больше сыра. Я убеждал его самыми серьезными доводами — и он послушался меня, особенно когда я обрисовал ему последствия злоупотребления этим блюдом. Но он ничего не знал о своей болезни и считал мой вывод о том, что расстройство пищеварения от переедания сыра легко могло стоить ему жизни, необоснованным, а мое решение лишить его этого десерта — чрезмерно строгим. Несколько дней спустя он предлагал за маленький кусочек сыра и гульден, и талер, и больше, говоря при этом, что он-то ведь имеет на это право, но я упорно противился. Он раздражался тоскливыми стенаниями на запрет сыра, но наконец смирился с его отсутствием, хотя по-прежнему часто упоминал о нем. Я внушал ему, что искусство сыроварения в настоящее время забыто, и о сыре больше не может быть и речи. Начиная с 13 октября его обычные застольные друзья снова приглашались на обед, и Кант снова стал здоров, однако уже редко демонстрировал ту степень оживленности, которая была свойственна ему до болезни.

Сколь охотно он ранее затягивал трапезу, называя ее *coenam ducere*¹⁰, столь же сильно он теперь желал ее скорейшего окончания. Одно блюдо должно было быстро сменяться другим, и в 2 часа обед уже должен быть закончен. Из-за стола он сразу же, то есть уже в 2 часа, отправлялся в постель, иногда впадал в дрему, в страхе просыпался от сновидений, которые были похожи скорее на фантазии. В 7 часов вечера наступало для него самое беспоконное состояние, длившееся до 5 или 6 часов утра, а то и дольше. Непринужденное хождение по комнате сменялось страхом, который был сильнее всего сразу же после пробуждения.

С этого времени за ним нужно присматривать непрерывно всю ночь. Его неутомимый слуга, который был весь день в делах, мог вскоре не выдержать такого напряжения. Необходимо было найти для него помощника.

Хотя в прежние времена Кант не любил находиться в окружении своих родственников, но не потому, что он стыдился их (он был гораздо выше

⁹ Medizinalrat Regierungsrat Doktor Elsner — Christoph Friedrich Elsner (1749–1820), выпускник Альбертины, впоследствии был ее ректором и проректором.

¹⁰ Ведение общения (лат.).

этого), а потому что, общение с ними не могло удовлетворить его. И все же по нескольким причинам я считал более благоразумным доверить его попечению людей, близких ему по крови, чем чужих. Для родственников это было не только первой обязанностью — тем более что он щедро поддерживал их, — но также и возможностью непосредственно наблюдать, как я ухаживаю за *Кантом* и забочусь о нем. Они могли убедиться, что он ни в чем не испытывает нужды, напротив: любое желание, не наносящее ему вреда, выполнялось тотчас; а также узнать о расходах, которых требует его нынешнее состояние. Сменять слугу у постели *Канта*, в обмен на щедрое вознаграждение в дополнение к уже имевшейся пенсии и приличное угощение по вечерам, стал сын его сестры. Я твердо убежден в том — и могу сослаться на любого непредвзятого из его застольных друзей, бывших отчасти свидетелями предпринятых мной мер, — что в его лечении и в уходе за ним ничего не упускалось; что у него было не только то, что должен иметь человек его положения и достатка, но и всё, что только можно иметь.

Восьмое октября заметно истощило силы *Канта*, но не могло еще отнять их полностью. Всё ещё бывали некоторые мгновения, в которые его могучий рассудок хотя уже и не сиял так ослепительно, как прежде, но всё ещё давал о себе знать, и в которые тем более проявлялось его доброе сердце. В те часы, когда его слабость отступала, он оценивал все меры, облегчавшие его участь, с *трогательной* благодарностью ко мне и с *деятельной* благодарностью к его слуге, чьи крайне утомительные хлопоты и неустанную преданность он вознаграждал ценными подарками. Об их размере и способе он предварительно советовался со мной. Поговоркой для него стало выражение: «Нигде не должно быть места скупости и скряжничеству». Сами эти слова значат немного, но выражение почтенного лица, в котором каждый мускул говорил о глубоком презрении ко всему, что могло показаться хоть в какой-то мере жадностью, свидетельствовало о многом. Деньги в его глазах не имели никакой иной ценности, кроме как средства, которыми, если использовать его мудро и целенаправленно, можно творить добро. Из своего состояния в 20000 талеров и умеренного дохода от занимаемой им должности в университете, которая в последние годы по вышеупомянутым причинам приносила несколько больше, он ежегодно регулярно отдавал на поддержку своей семьи и в кассу для бедных такую сумму, которую не каждый богач способен уплатить, а именно: *одну тысячу сто двадцать три гульдена*. Эта сумма выплачивалась мною отчасти ежеквартально, а отчасти ежемесячно в его присутствии. В эту сумму входила пенсия в 40 талеров, предназначенная *Лампе*, но не входила поддержка бедных, которые получали пожертвования еженедельно. Обычно преклонному возрасту свойственна жадность или, по меньшей мере, жесткая экономия; возраст *Канта* проявился в благородной и мудрой щедрости. Лишь в период полного доверия я впервые узнал от него о тех суммах, которые получали от него его родственники, — и узнал не раньше, чем мне пришлось их узнать, когда я сам стал их выплачивать.

Попрошайкам, которые часто его навещали, он, как правило, ничего не давал, потому что его милосердие было основано на принципах. При всей его телесной слабости он умел выстоять перед попрошайками, плутами и вообще всем этим сбродом, который хотел бы воспользоваться его слабостью. Ему хватало мужества и энергии не бояться таких людишек, даже когда его тело стало уже почти немощным. На закате его жизни это испытала на себе неожиданным образом одна дама. *Кант* был один в своем кабинете.

С улицы к нему всегда можно было зайти. Когда прислуга выходила по делам, закрывались двери всех комнат, кроме дверей его кабинета. Однажды хорошо одетая дама тихо и скромно постучалась в дверь его кабинета; возможно, она пошла на это из-за распространившегося слуха о его немощи. *Кант* громко говорит: «Войдите!» Она, видимо, испуганная тем, что *Кант* довольно быстро встал из-за стола, спрашивает тихо, вежливо и смущенно: «Который час?». *Кант* вытаскивает свои часы, держит их предусмотрительно крепче, чем обычно, и отвечает ей столь же скромно, сколько времени. Она очень учтиво откланивается и благодарит его за доброту. Едва закрыв за собой дверь, она вспоминает еще об одной мелочи, которую чуть не забыла, — озвучивает еще одну просьбу: ее, собственно, прислал его сосед, имя которого она назвала; он желает установить свои часы по часам *Канта* и просит у него дать ей его часы всего на несколько минут, потому что переход из дома в дом требует некоторого времени и делает невозможной точную установку. Тут *Кант* набрасывается на нее с такой стремительностью, что она сразу обращается в бегство, и он, не понеся никакого урона, выходит победителем. И в ту же минуту пришел я, но не сразу сообразил, что происходит, иначе бы она легко была поймана. Он с большой радостью рассказал мне об этом приключении. Я в шутку спросил его: «Что бы он сделал, если бы дама проявила больше смелости и ее затея действительно увенчалась бы успехом?». Он ответил, что он бы отважно оборонялся. Но по моему мнению, победа, пожалуй, была бы за ней, и *Кант* в своем преклонном возрасте оказался бы впервые побежден дамой. Эта история весьма схожа с еще одной, произошедшей с ним почти в то же время. Другая женщина, тоже хорошо одетая, хотела обсудить с ним такие дела, которые решаются только с глазу на глаз, без свидетелей. *Кант*, не желавший утаивать что-либо от меня, направил ее ко мне. Я распознал в ней типичную мошенницу и знал, что недавно она вымогала у другой уважаемой дамы 10 талеров, которые та ей, опасаясь насилия, так как они были в доме одни, отдала. Она была вынуждена изложить мне свое дело, которое состояло ни много ни мало в том, чтобы потребовать выдачу десятка серебряных столовых ложек и нескольких золотых колец, которые якобы были ее собственностью и которые, по ее словам, непутевый супруг, не предупредив ее, отдал *Канту* в залог. Она была настолько любезна и готова уладить дело мирно, что добавила: если этих вещей уже нет в наличии, то ее вполне устроит эквивалентная сумма денег. Моим ответом на это предложение был просто приказ слуге: вызвать сюда комиссара криминальной полиции. Она была в нерешительности и в заметном смущении, не зная, отнести эту меру к себе или сделать вид, будто ее половая принадлежность, приличное платье и невинность должны возвысить ее над подобными заведениями как не имеющими к ней никакого отношения. Но более подходящим ей показался другой выход из ситуации. Она взмолилась и стала оправдывать этот необдуманый поступок бедственным положением, в котором находилась, и после некоторого внушения и данного ею обещания никогда больше не переступать порог дома *Канта* была отпущена.

После этого отступления я снова возвращаюсь к состоянию самого *Канта*. Его врач, бывший одним из лучших его друзей, добросовестно посещал его настолько часто, насколько того требовало состояние его здоровья. Так как *Кант*, собственно, был не болен, а лишь стар и слаб, он давал ему просто питательные, укрепляющие и успокаивающие средства и подходил к делу с похвальной осторожностью. *Кант* теперь беспрекословно прини-

мал любое лекарство, чего не было в прежние времена. «Мне хочется умереть, — говорил он, — но не от медицины; если уж я совершенно болен и слаб — со мной можно делать всё что угодно, и я терпеливо всё снесу; только я не стану принимать предохранительных мер». При этом он вспоминал надпись на надгробии одного человека, который для профилактики принимал лекарства, будучи здоровым, и неумеренным употреблением их сократил себе жизнь. Эта эпитафия гласила: «N.N. был здоров, но так как он хотел быть еще более здоровым, то он покоится здесь». Кант гордился тем, что не нуждался в медицине, не считая того, что он ежедневно принимал, а именно: три, позднее четыре, пилюли, которые он принимал каждый раз после еды. Они состояли из равных частей венецианского мыла, сгущенной бычьей желчи, барбариса и Руффинова порошка, и рекомендовал их ему ныне покойный Д. Трюммер, его школьный друг и единственный, с кем он был на «ты». Боясь, что он [Кант] забудет принять эти пилюли, он [Кант] просил застольных друзей напоминать ему об этом. Кант был большим еретиком в медицине. Он имел обыкновение говорить: всё, что продается, покупается и выдается в аптеке, — все эти лекарства, снадобья и яды — синонимы. Он и раньше был склонен к ортодоксальности в медицине и для устранения вздутий живота принимал несколько капель рома на сахаре а ля Броун¹¹, а также вышеупомянутые простые средства, которые должны были расщеплять кислоту в его желудке.

(Продолжение следует)

Перевод с нем. А. С. Зильбера под ред. И. Д. Копцева

О переводчиках

Зильбер Андрей Сергеевич — ст. преп. кафедры философии и культурологии Калининградского государственного технического университета, a-zilb@ya.ru

Копцев Иван Демьянович — д-р филол. наук, проф. кафедры теории языка и межкультурной коммуникации Института социально-гуманитарных технологий и коммуникаций Балтийского федерального университета им. И. Канта, Калининград, ivan.kopcev@mail.ru

About translators

Andrey Zilber, senior teacher, Department of Philosophy and Culturology, Kaliningrad State Technical University, a-zilb@ya.ru

Prof. Ivan Koptsev, Department of Language Theory and Cross-Cultural Communication, Immanuel Kant Baltic Federal University, ivan.kopcev@mail.ru

¹¹ По системе Джона Броуна.